Пилявская Софья

Софья Станиславовна

Фото Е. ХАЛДЕЯ

В театре о ней говорят, называя лишь имя и отчество. Фамилии не произносят – незачем! Софья Станиславовна! Звучит что-то ласковое, уважительное, бесконечно свое. Когда в 1931 году пришла в этот дом в Камергерском переулке, прорвалась в театр своей юношеской мечты, называли по фамилии: Пилявская!

А теперь... Теперь она единственная из тех, с кем репетировали Станиславский и Немирович, выходит на знаменитую сцену. И играет. И зрители видят, чувствуют, как возникает вокруг нее поле искусства правды, бескорыстия, аристократической простоты.

"Московский хор". Необъяснимая старуха, вернувшаяся из каторжных нор, но упрямо стоящая на своем. Графиня в парадоксальной комедии Ануя. А в последней премьере театра, в "Грозе", – сумасшедшая барыня. Шестьдесят пять лет играет Софья Станиславовна... Культура. – 1996. – 18 мая. – С.1

Александр СВОБОДИН

(Беседу с С. Пилявской читайте на 13-й стр.).

СОФЬЯ ПИЛЯВСКАЯ:

Культура. – 1996. – 18 мая. – С. 13

Для меня существовал только один театр!

Обаяние старых актерских квартир... Вещи, книги, фотографии, излучающие тепло... Хозяйка умолкает. Смотрит в окно. Спокойное достоинство во взгляде серых "длинных" глаз, породистый профиль. И только низкие ноты "виолончельного" голоса выводят из этого созерцательного оцепенения.

– Так вот, я и говорю – у меня самые трудные дни– праздничные или юбилейные. Потому, что невольно мыслью уходишь на 40–50 лет назад. И как-то всегда очень мрачно становится. А сегодня я немножечко выплеснула эти года...

– Простите, такой юбилейный вопрос – вы прожили в одном театре всю жизнь. Неужели никогда не хотелось ничего изменить? Попробовать себя где-то еще и в другом качестве?

– Даже мысли такой никогда не было. Для меня существовал только один театр – Московский Художественный. Я пришла в него, когда он был Домом, семьей, замкнутым миром. Он держал атмосферу старых интеллигентных домов. Не зря тогда говорили: "Мы пойдем к Прозоровым", а не на "Три сестры".

– Да, когда читаешь про старый МХАТ...

– Но, перебиваю вас. Чем это достигалось! Была одинаковая железная дисциплина для всех! В 31-м году, когда приняли меня в театр, я сразу же попала в "Мертвые души", которые тогда интенсивно репетировал Станиславский. И как-то раз он опоздал на репетицию. Наконец, появляется. Как всегда: "Общий поклон. Начнем". Естественно, никто его ни о чем не спрашивает. А на следующий день на доске объявлений появилась записка: "Вчера я опоздал, по такой-то причине. Прошу прощения. Станиславский (Алексеев)". Вот так. Основатель театра у труппы просит прощения за то, что опоздал на 15 минут. Вот в чем разница-то.

– А к нему отношение в труппе было как к гению?

– Да-а-а. Авторитет был совершенно непререкаемый. Это все теперь уже читаешь или слышишь: "Ну, мы ИМ прощали". Кто? Как это – прощали? И перед Станиславским, и перед Немировичем дрожали все как осиновые листья. От мала до велика. Смеялись, конечно, между собой. Изображали очень смешно. Анекдоты рассказывали. Все же люди. Например, как-то зимой незнакомый извозчик привез Станиславского в театр (над Константином Сергеевичем всегда дрожали, кутали). Так вот, ждет-поджет, заходит в контору к Феде (Михальскому) и говорит: "Я тут какую-то бабу старую привез, а мне не платят".

Но в общем, К.С., как его называли, был совсем не святой, это – легенда. Он мог быть всяким и в том числе жестоким. Он не умел сердиться, он – гневался! И это было очень страшно. Пока не добьется от актера того, что ему было нужно, не выпустит, доведет до изнеможения. А если цеплял хоть крупицу правды, становился феноменально терпеливым, добрым, только помогал. Ну – гений...

– В этом смысле Владимир Иванович был другим?

– Как вам сказать... Другим, но смотрите, какая сила авторитета. Наш театральный буфет. Он был, к слову сказать, совсем другим. Стены были обиты циновками, огромный самовар и буфетчик Прокофьев за ним – еще из "Общества". Молодежь в первый год своей жизни в театре еще не решалась туда входить. "Старики", второе поколение сидят за столиками, громко смеются (а Тарханов всегда рассказывал какие-то немыслимые вещи). И вот Владимир Иванович из нижнего фойе проходит мимо буфета. Все встают. И Ольга Леонардовна Книппер-Чехова, и Мария Петровна Лилина, супруга Станиславского, приподнимаются, кланяются. Вне театра он им ручки целует, и все, как полагается в приличных домах. А здесь... Вот дистанция, которая соблюдалась в театре.

– Можно представить себе ощущение сиротства, которое возникло потом, после их ухода...

– Да, было действительно ощущение какого-то обвала. И вы подумайте, что значит духовная связь, предчувствие близкого человека. Станиславский в день смерти спрашивал о Немировиче, где он? Не болен ли? А Владимир Иванович вдруг, за сутки до смерти Станиславского, прервав отдых за границей, едет в Союз. И когда мы подходили к Новодевичьему, у открытых ворот его уже стоял Немирович. Все вздрогнули: успел! А он все говорил и повторял: "Поклянитесь"!

– Да, но к сожалению, имена эти все дальше уходят от нас. Остается некая мифологема.

– В том-то и дело. А я помню такие живые, яркие детали. Так, незадолго до смерти Владимира Ивановича в мае 43-го я совершенно неожиданно встретила его, пешком идущего из театра по улице Горького. Выхожу из магазина, в одной руке батон, в другой перчатки, слава Богу, оставалось еще французское пальто и шляпа, а так, в общем, ничего приличного. Ужас. Я батон за спину, но разве от него что-то скроешь! Решил мне помочь: "Не хотите ли пройтись с элегантным мужчиной?". А его иначе и нельзя было назвать. Крахмал, великолепный костюм, пальто. Дошли мы до дому. И тут уж я осмелилась сказать: "Можно мне вас проводить?" – "Буду рад". А на прощание (он никогда ученикам или молодым актерам рук не подавал) наклонил голову, посмотрел внимательно: "Благодарю вас. Всего хорошего". Это была моя последняя с ним встреча. Про К.С. всегда знали – болен, надо беречь. А Владимира Ивановича считали здоровым и тому, что его положили в больницу, не придали большого значения. В Пасхальную ночь разговорились у нас, веселились безумно. Тарханов с Михальским пели арию Лизы из "Пиковой". И вдруг пришел со скорбной вестью Канделаки. Я, помню, вышла на балкон, заплакала, а наша чудная домоправительница мне все говорила: "Зосенька, ты не плачь. Ведь Врата-то открыты. Они сразу в рай попадут. Не плачь".

– Софья Станиславовна, я читала вашу книгу "По долгу памяти" и часто к ней возвращаюсь в поисках ответа. Трагичная, в общем, жизнь, бог весть, чего в ней только не было. Как удалось вам *быть*, несмотря ни на что?

– Я так скажу и думаю, что точно. Конечно, меня спас театр, Школа. И спасло меня то, что я, на мое великое счастье, была приближена к "старикам". И особенно к Ольге Леонардовне. Без нее я бы просто пропала. Вот ее фотография. Она мне подарила ее после смерти моего мужа. 4 января 54-го года его хоронили, а 6-го я заставила себя играть. Потому что понимала – иначе упаду. Потом так и случилось. И вот на этом спектакле она подарила мне чудную, старинного розового стекла вазочку и вот эту фотографию. Она тогда уже плохо видела и почти по памяти надписала: "Дорогой моей Зоосе (так и написано с двумя "о") со всей моей любовью. Живи! Твоя Ольга Леонардовна". Когда уж я была приближена, то назвала ее в шутку "Барыня", она долго сердилась: "Что ты с ума сошла? Какая я тебе Барыня?!". А потом привыкла, и ее многие так звали. Леопардовна, Герцогиня и Барыня.

Уже в 30-м году я познакомилась с Вадимом Шверубовичем и была допущена в дом к Качаловым. Очень хорошо ко мне и мужу относился Москвин. А когда остался один и очень тосковал, часто приходил к нам и говорил: "Ребята, я гость ранний (т.е. до утра)". Так что за все мои беды это какая-то компенсация. Мою жизнь, наверное, можно положить на две чаши – одна очень страшная, другая – счастливая именно из-за этого. Ведь страшно сказать – 67-й сезон играю.

– И 34 года в Школе-студии!

– Когда скончался Николай Иванович Дорохин, мой муж, Монюков, Массальский, Шверубович, Станицын – все вместе решили меня спасать. Даже не спрашивая, просто пригласили на тот курс, где работал муж. На нем были Волчек, Табаков, Кваша. Я, конечно, тряслась, как овца. И только с нового учебного года окончательно решилась.

– А нынешнюю театральную молодежь – любите, знаете?

– Уже шесть лет я не преподаю в школе. Ушла. Что вам сказать.. По талантливости актерской и сейчас есть ребята, которые могли бы работать на уровне нашего "второго поколения". Есть молодые актеры, которые не боятся учиться, любят выстраивать роль. Большинству же ничего не надо. Выучить текст приблизительно, неважно, кто – Грибоедов так Грибоедов, Мольер так Мольер. И найти органику. Да такая органика, что только ничего понять нельзя, – с восьмого ряда ничего не слышно. Каша. Ведь это катастрофа, по-моему, не только в нашем театре. Слово. Речь! Она чудовищна! Провал русского языка. Хорошо что я, например, "Бориса Годунова" наизусть знаю. А то, кроме самого Ефремова, да Невинного с Мягковым, никого понять не могу. Я ведь когда-то репетировала Марину, дошло до генеральной, собирались в Париж везти.

– Отчего же не состоялось?

– Ну как же... Вождь всех народов, учитель усмотрел – народ-то безмолвствует (смеется). Ну и, конечно, кончу я тем (выразительно посмотрев на меня), что я – счастливая. В результате-то!

Беседу вела
Елена СИЗЕНКО